

Тьма египетская

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем «скорый» в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.

Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...

Мы же одни.

— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно — египетская.

— Прошу еще по рюмке, — пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

— За ваше здоровье, доктор! — прочувствованно сказал Демьян Лукич.

— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.

— Я решительно не постигаю, — заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, — что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерки.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли... Пожалуйста еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича:

«Tinct. Belladon...» и т.д. «16 декабря 1917 года...»

Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и просьбой повторить.

— Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким голосом.

— Все, батюшка милый, все, — пела бабочка сдобным голосом, — дай вам Бог здоровья за эти капли... полбаночки — как приехала, а полбаночки — как спать ложиться. Как рукой сняло...

Я прислонился к акушерскому креслу.

— Я тебе по сколько капель говорил? — задушенным голосом заговорил я. — Я тебе по пять капель... Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж...

— Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный.

Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

— Этого не может быть!.. — заговорил я и завопил: — Демьян Лукич!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

— Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю...

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.

Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил:

— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

— Ей-бо... — начала баба.

— Бабочка, ты нам очков не втирай, — сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич, — мы все досконально понимаем. Сознаться, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

— Вот чтоб мне...

— Брось, брось... — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне: — Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она приедет в деревню и всех баб угостит.

— Что вы, гражданин фершал...

— Брось! — отрезал фельдшер. — Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам, — продолжал он мне.

— Еще этих капелек дайте, — умильно попросила баба.

— Ну, нет, бабочка, — ответил я и вытер пот со лба, — этими капельками больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

— Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

— Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала.

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

— Это что, — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле, — это что: мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!

— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Анна Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

— Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.

— Замечательный доктор был! — восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камешками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

— Да, личность выдающаяся, — подтвердил фельдшер. — Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию — пожалуйста! Они его вместо Леопольд Леопольдович Липонтий Липонтьевичем звали. Верили ему. Ну и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает как-то к нему приятель его Федор Косой из Дульцева на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьевич, заложило мне грудь, ну не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает...

— Лярингит, — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

— Совершенно верно. «Ну, — говорит Липонтий, — я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой — на грудь. Подержишь десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме. «В чем дело?» — спрашивает Липонтий. А Косой ему:

«Да что ж, — говорит, — Липонтий Липонтьевич, не помогают ваши горчишники ничего».

«Врешь! — отвечает Липонтий, — не могут французские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...»

И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе наклеен!..

Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

— Воля ваша, это — анекдот, — сказал я, — не может быть!

— Анек-дот?! Анекдот? — вперебой воскликнули акушерки.

— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер. — У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит... У нас тут такие вещи...

— А сахар?! — воскликнула Анна Николаевна. — Расскажите про сахар, Пелагея Иванна!

Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

— Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...

— Это Дульцево знаменитое место, — не удержался фельдшер и добавил: — Виноват! Продолжайте, коллега!

— Ну, понятное дело, исследую, — продолжила коллега Пелагея Иванна, — чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное... То рассыпчатое, то кусочки... Оказывается — сахар-рафинад!

— Вот и анекдот! — торжественно заметил Демьян Лукич.

— Позвольте... ничего не понимаю...

— Бабка! — отозвалась Пелагея Ивановна. — Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

— Ужас! — сказал я.

— Волосы дают жевать роженицам, — сказала Анна Николаевна.

— Зачем?!

— Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется, бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...

Глаза у акушеров засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает, не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.

«Ну, нет! — раздумывал я. — Я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!..»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой седеющей бородкой...

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул...

— Кто там, Акси́нья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверху — кабинет и спальня, внизу — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещались эта Акси́нья-кухарка и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Акси́нья доложила:

— Да больной приехал...

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышинной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.

— Ходит он?

— Ходит, — зевая, ответила Акси́нья.

— Ну пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.

— Извините, гражданин доктор, — приятным мягким басом отозвалась фигура, — метель — чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!..

«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло.

— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

— Лихорадка замучила, — ответил больной и скорбно глянул.

— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

— Так точно. Мельник.

— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

— Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и отпустит...

«Готов диагноз!..!» — победно звякнуло у меня в голове.

— А остальные часы ничего?

— Ноги слабые...

— Ага... расстегнитесь!.. Гм... так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, — к медицине.

— Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, — у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую лечиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо ответил мельник. — Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... И на впрыскивание согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini mur. — 0,5

D.T. dos. № 10

S. Мельнику Худову.

По 1 порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

Примите во вторую палату мельника. У него *malariae*. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за четыре до припадка, значит, в полночь.

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксины ответную записку:

Все исполнила. Пел. Лобова».

И заснул...

...И проснулся.

— Что ты? Что? Что, Аксины?! — забормотал я.

Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.

— Марья сейчас прибежала. Пелагея Иванна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

— Что такое?

— Мельник, говорит, во второй палате помирает.

— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть.

«Что такое?.. что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках и незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.

— Доктор! — воскликнула она, — я не виновата. Кто же мог ожидать. Вы сами же чиркнули — интеллигентный...

— В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буровой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

— Ну как? — спросил я.

— Тьма египетская в глазах... О... ох, — слабым басом отозвался мельник.

— У меня тоже! — раздраженно ответил я.

— Ась? — отозвался мельник (слышал он еще плохо).

— Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! — в ухо погромче крикнул я.

И мрачный и неприязненный бас отозвался:

— Да думаю, что валандаться с вами по одному порошочку. Сразу принял — и делу конец.

— Это чудовищно! — воскликнул я.

— Анекдот-с! — как бы в язвительном забытии отозвался фельдшер...

«Ну нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед...

Сон — хорошая штука!..